

### квებек

под оползнем ветра, под дождиком рваным  
отрадно смотреть на взопревший брезент  
павильона.

мостики разметало, и катер картавит, припаян  
к вороньему мясу реки, ударяющей в бубен.

и то, что осталось от кровельных плясок  
июльского ливня, хватает, конечно, на ужин  
с вином из кленовой бутылки, осиновой лаской  
в церковной ограде, о Боже, как дождь этот  
нежен

и сладостен ветер в слепой колокольне,  
начинка его из волторн и кларнетов тягучих,  
где раньше саднило, там больше ни капли  
не больно,  
где жгло по живому, там лучше становится,  
лучше.

\*\*\*

прямызна поступка — электричка:  
сел, уехал, в прошлом не жилец.  
я сейчас тщедушнее, чем спичка,  
властелин распаянных колец.

электричка, пьяная сестричка,  
увези в паленое лито,  
где польнью пахнет переключка  
мертвецов, убитых ни за что.

где-нибудь на станции кандалной  
выпусти, железная змея,  
в сломанную жизнь, на берег дальний,  
там хвостом виляет сырдарья,

и, как пелось в песне заповедной,  
где про кобылицу и ковыль,  
по степи несется всадник медный  
и глотает лагерную пыль.

■□■

© Текст: Григорий Стариковский



*Александр Стесин*



*Памяти Роберта Крили*

Дождь пройдет, не истопчет травы,  
не испортит асфальтовой кожи.  
Календарный листок оторви,  
за ночь вырастет точно такой же.

Город Буффало. Некий мотель  
малозвездочный, но с колоритом.  
То не собственной смерти модель,  
даже если нарочно умри там.

То для собственной жизни листки;  
счет под дверью, прислужгой просунут;  
чуткий сон той, с которой близки,  
за бугром неразобранных сумок.

Пусть протянется связь, не видна;  
быстрый дождь простучит, как наборщик.  
Даже если он как из ведра,

а итог — вполстраницы, не больше.  
Или если, как речь, и першит  
тишина, катаральное нечто,  
будто голос к гортани пришит.  
А строка оттого бесконечна,

что каретку менять не с руки,  
разговор продолжая заглазный.  
Смерть, как имя в начале строки —  
нарицательное, но с заглавной.

\*\*\*

Средь невымытых вилок и тарелок  
циферблат находишь наугад.  
Шесть часов. Вечерний циркуль стрелок,  
тикая, садится на шпагат.

Время сникнуть, время согнуть вовсе,  
свой обед, не разогревши, съесть  
время есть, и в гусеничном ворсе  
пледа мерзнуть — тоже время есть.

Но не время у лихого беса  
философской внятности просить,  
потому что жизнь — не только бегство,  
потому что стоит погасить  
искру, как опять по коридорам  
дед-уборщик примется мести  
пепел сигарет твоих, в котором  
вряд ли Феникс вздумает взрасти.



Целлофановый куль, как упавшее облако,  
юго-западный ветер поднимет с земли.  
Изучая приметы дрожащего облика,  
неприглядным Нарциссом над лужей замри.

Вот летит грузовик, след печатая вафельный;  
паутиной осенней сквозит естество.  
И не прав метафизик, но нет основательных  
у природы причин опровергнуть его.

Ибо жил пешеход, что-то слышал и видел он,  
пенопластовый крейсер по лужам пускал

в кругосветный круиз. Тонкой ретушью выделен,  
на визитках блестел его бодрый оскал.

И куда он пойдет, где толкнет свою исповедь,  
бытовую полемику с пеной у рта?  
Так уже самого себя хочется выставить  
властным жестом за дверь. Только дверь заперта.

□ □ □

Я впишусь в эту осень, к стене прислонившись  
спиной.  
Это время — река, где непарных ботинок галеры  
по теченью плывут. И слышны из ближайшей  
пивной  
фортепьянные опусы в темпе домашней аллегры.

Я впишусь в этот рыжий кирпич и с изнанки моста  
меловые граффити, чумных басквигатов творенья,  
и в общагу, где будка консьержки уж год, как пуста,  
но жильцы до сих пор предъясляют удостоверенья.

Здесь на койке больничной кончается некто, и свет  
упрощается в нем, перевернутым кажется днищем.  
И работают все службы быта. И в желтой листве  
сокращенное солнце восходит над парковым ни-  
щим.

Я в графе распишусь. С белой койки мертвец по-  
глядит  
в поднесенное зеркальце, и заведут хоровую  
та консьержка пропавшая и этот нищий, к груди  
прижимающий мокрого пса, точно грелку живую.

□ □ □

Когда причаливают лодку харонову  
к крутому берегу Восточной реки,  
и грузят ту или иную херовину,  
бычки за уши заложив, моряки,  
психоделичный дядя, спешившись с велика,  
с другого берега им машет рукой  
и смотрит, как выносят шляпки из эллинг.  
И густо фабрики дымят за рекой.

Сентябрьским утром взгляд, от ветра слезящийся,  
он устремит туда, где пристань и шлюз,  
и напевает не лишенный изящества,  
еще с Вудстока им запомненный блюз

о том, как много нужно этого самого  
для просветленья в мозгах, а для души  
одна любовь нужна и музыка, заново  
в ушах звенящая и горсть анаши.

Так напевает он, и в образе Хендрикса  
уже является Харон мужику.  
В преддверье ада речка движется, пенится,  
любовь и музыка стоят начеку.

□ □ □

Без песен, ибо музыка сильнее  
поэзии и упраздняет слог,  
я подпишусь под этой ахинеей,  
без красных строчек сочиню пролог.

Задумал эпос нации отсталой,  
но вместо «Калевалы» за окном  
лишь талый снег прошелся, сумрак талый,  
подчеркнутый дорожным полотном.  
И физкультурник, что бежит под плеер  
с такою верой в жизнь и правоту,  
как будто лейкопластырем заклеил  
навек ахиллесову пятау.

Забудь припев, смени наличье смысла  
на распорядок слов, бег вдоль шоссе —  
на тренажер, чтоб никуда не смылся  
главный герой, холерик подшофе.  
Ибо, куда ни двинь, одна дорога  
бежит, покуда сам бежишь по ней  
в обратном направленьи от порога,  
от детских дней и от недетских дней.

□ □ □

Это так из яичницы желтый глаз  
вытекает на сковороде.  
Это просто конфорочный вспыхнул газ.  
В умывальнике, в ржавой воде  
две руки отразились и мыла запас.  
Или велосипедный сверчок  
умолкает в прихожей, и в тишь, как в паз,  
попадает замочный щелчок.

Это кто-то выходит из темноты,  
в коридорно-квартирном аду  
жметя к стенке с эстампом гогеновским: «Ты  
хочешь, чтоб я ушла — я уйду».

Это чувств пятерней в промежутке одном  
шарит время, в дому, где нас нет,  
гаснет свет. И чернеет к весне за окном  
хрусткой яблочной мякотью снег,  
будто скоро займет этот номер пустой  
кто-то новый, с двери сняв печать,  
и начнется с постскриптума рифмы простой  
все, что поздно сначала начать.

□ □ □

Дед прошел до Берлина войну  
у мартеновской топки в Сибири,  
без оркестра вернулся в страну,  
где победные марши трубили.  
В новый век производственных льгот  
вышел улицей Кто-то-там-града  
и катал на плечах каждый год  
мою маму во время парада.

Все, что было по справкам потом,  
как и то, что действительно было,  
лишь тире, через время понтон.  
Не спасло, но убить не убило.

Лишь игрушечный полк прочесал  
кабинет с нежилым интерьером,  
где гнездилась кукушка в часах  
и, разбужен соседским терьером,  
по инерции вздрагивал дед,  
опустивший газетные складки  
и уснувший, как был, не раздет,  
своим старческим сном без оглядки.

□ □ □

О том, что, когда будет поздно, пойму,  
о склонностях черт-те к чему,  
прогнозы, едва постижимы уму,  
тирады в еврейском дому  
припомню однажды, когда отлучусь  
туда, где не видно ни зги;  
и нет больше тех, что несли эту чушь  
и все-таки не донесли.

Побитые жизнью и смертью плоды  
с семейного древа, одни  
по ведомству страхов, предчувствий беды,  
другие — с подачи родни,  
попадали в землю, чтоб в ней прорасти  
участком в две-три сотых га,  
и я здесь росток; мне не видно пути  
в трех соснах под знаком «тайга».

Нет смысла потрепанный атлас листать  
с цветком-осьминогом в углу.  
Летальный исход не научит летать.  
Пред собственным страхом в долгу,  
из дома уходишь. Тропа до реки  
петляет в предместье глухом.  
И сосны на синих холмах далеки  
настолько, что кажутся мхом.

□ □ □

Она говорит: «Тяжело, а ему тяжелей»,  
говоря о муже. Они — в ожиданье врача  
в онкологической клинике. «Пожалей  
нас», причитает. И медсестра, ворча,  
приносит ему подушку, питье, журнал.  
Он — восьмидесятитрехлетний. Рак  
почек. Худой, как жердь, но худей — жена.  
Он и она — из выживших: тьма, барак  
в Треблинке или Дахау.

С недоверьем глядят  
на студента-медика, думают: свой не свой?  
Да, говорю, еврей. И тогда галдят,  
жалуясь на врача с медсестрой. Весной  
будет ровно шестьдесят лет со дня  
их женитьбы. Кивает на мужа: «Тогда он был  
вроде тебя... — и оглядывает меня, —  
...но постройней». Верный муж охраняет тыл.

Она говорит: «Мы постились на Йом Киппур  
даже там... Берегли паёк... А в этом году  
в первый раз в жизни не выдержали. Чересчур...»  
Говорит: «Когда он уйдет, я тоже уйду».

Он — вечно мерзнувший; помнящий назубок:  
«Образ Господа виден смертному со спины, —  
засыпает, подушку подкладывая под бок, —  
Next year in Jerusalem. Все будем спасены».

■ □ ■